

ПОБЕГ

Волки смотрели на Шурку. Один, два, три... Семеро. Стая из семерых волков. Спокойных, отдыхающих в свете луны.

– Беги, Шурка, пришли за тятей в кожаных тужурках, – сказала Ташка сестре, когда та была в поле.

Шурка бы прыснула со смеху вместе с Ташкой – они всегда хохотали над неожиданно получившимися рифмами, но не в этот раз.

Шурке в деревню было нельзя, десятилетних забирали в трудовой лагерь. Тятя сказал бежать к тетке Марьке, и Шурка бежала.

Волчья шерсть серебрилась в свете луны, глаза жгли ярче звезд, тех самых, которые не раз видели в этих краях влюбленные парочки односельчан – как-никак, одно из самых романтических мест в деревне! Один, два, три... На той стороне речки, сразу за мостом. Дорога к Марьке одна – через мост. Вернуться назад? Но те, в кожаных тужурках, страшнее волков.

Не смотреть в глаза, не поворачиваться спиной. «Господи, спаси и сохрани», – шептала Шурка. Подойти к ним ближе и свернуть направо. Шаг, два, три. Не бежать. Красивые, будто породистые. Местные цари. Взять палку? Но что она со своей палкой против стаи? Пахнет болотом, подгнившей травой. Холодно на ветру. Залепанные скользкой

глиной, мокрые ноги – тысячу раз упала, пока бежала по проулку от страшных людей в черном, а теперь крадется от волков. Теперь нельзя бежать. Хочется, но нельзя.

Все началось в 1922-м, когда тятя сказал: – Новую политику объявили: можно частным промыслом заниматься.

Шурка помнила, как от этой новости мама, сажавшая опальки в печь, прислонилась к стене ухват. Еще немного – и мамина талия снова станет узкой, как ни у кого в деревне, а пока она ждет Ташку, четвертую девочку, и Шурка ждет. Она любит, как большая, сидеть вместе с бабушкой Агафьей в няньках.

Семь лет занимался возгонкой дегтя Колей. Продавал его в лавочке, которая стояла в проулке рядом с его домом. В доносе лавочка значилась заводом.

Донесли соседи напротив. Беднота беднотой, они не могли не завидовать Колею и Евдокии. Он – красавец, широкоплечий. Она – выпускница епархиального, с не по-крестьянски тонкими запястьями, будто созданными только для игры на фортепиано, но крепкая, работы не боится, дети всегда одеты, учат все стихи какие-то – Плещеева, Фета, Тютчева – зачем? – едят дома из тарел-

лок, а не из общей миски, да и вообще есть что поест. Вот и донесли Фуфины, не сдержались. Зато зажили как! Дом купили, лошадь, две коровы... Правда, через год Фуфин повесился, а дом так и стоит. Пустой.

В 1929-м Колея с беременной женой и двумя детьми посадили в телячьи вагоны и выслали в Сибирь. В деревне оставили только Агафью и Ташку, потому что та ослепла от испуга, когда бежала предупредить отца о том, что за ним пришли. Не совсем ослепла, но стала очень плохо видеть, зрение начало возвращаться только спустя пять лет.

Через месяц, еще не доехав до места высылки, Евдокия сбежала. Пошла покупать молоко на станции и затерялась в толпе.

Одним из самых счастливых дней в ее жизни был тот, после побега, когда она сидела на траве, откинув голову на серые, кое-где гнилые доски покосившегося домика лесника, в полах ее платья спали Катюшка с Настей, а Ваня, которому еще не исполнилось двух дней, причмокивая и сжимая грудь крошечными пальчиками, во сне, пока неглубоком, пил свое обеденное молоко.

Дом приютившего их лесника был окружен ветвистыми крепкими соснами с верхушками, стремящимися в небо. Рядом с домиком росли луговые цветы, которых обычно не встретишь в чаще: клевер и васильки, лютики и «часики». «Часики» – точь-в-точь такие, как за деревней, на околице, и они снова «тикали». Конечно, Евдокия давно знала, что то не звук, издаваемый цветами, а стрекот наслаждавшихся знойным днем кузнечиков, но ей казалось, как в детстве, что тикали именно «часики».

Плыло облако. Пушистое, белое с голубым отблеском лучей, оно, одинокое и заслоняющее собой лишь маленький нижний краешек солнца, вальяжно проходило мимо. Облако знало свое место, в отличие от застывшего среди «часиков» смешного угловатого богомола. Иной биолог мог бы сказать, что богомолам не место в этих лесах, что им здесь не по климату, но богомол обычно ползал здесь по-хозяйски, с высоко поднятой головой. Только сейчас он, как и все вокруг, остановился и, казалось, блаженно закрыл глаза, подставив голову изредка проглядывавшему сквозь иголки сосен солнцу.

Поезд прогудел где-то вдали, отчего малыш вскинул ручки, но Евдокия гудка не заметила. Она нюхала сладко пахнущую головку, слышала райские звуки леса, смотрела на эти приглу-

шенные спасительной тенью краски. Теперь, после вчерашнего обыска, когда стало понятно, что ищут женщину с двумя детьми, а у нее уже трое, можно было на какое-то время перестать бежать.

Она мечтала, как они встретятся с Колеем, ведь он тоже бежал с мужиками, раньше нее – мужиков должны были отделить и вроде как расстрелять, как только он умудрился со своими плечами пролезть в окно вагона? Только вот не получилось встретиться там, где договорились, на следующей станции. Она сбилась с пути, потом роды, теперь здесь, сил пока нет, но к вечеру они пойдут, пойдут снова, она уговорит детей, и они встретятся с Николенькой, обязательно, а если не встретятся здесь, на Урале, – увидятся дома, домой, домой надо идти. И они встретились, правда, через три года. И звали его по документам уже Михаилом, а дома – Мишей, Михрей, и дом у него был теперь в другом месте, в пятистах километрах от прежнего. Бывший односельчанин Колея, ездивший на калым в Подмоскowie, случайно встретил его на станции, где Колей работал кладовщиком, и передал Евдокии, где она может повидать мужа.

Евдокия пришла к нему, озябшая, январские морозы – дело нешуточное.

– Свои, не тронь. – Колей подошел к крыльцу, услышав, как лает на нее Вольный.

Пес замолчал и сел, а затем убежал, виляя хвостом. Евдокия вздрогнула от звука родного голоса, но так и осталась стоять, не отрывая от лица потрескавшиеся от мороза руки.

Он протянул раскрытые ладони в ее сторону, чтобы согреть ее руки дыханием и теплом своих рук, но тут же убрал, сунул в карманы. Как живете? Она отняла ладони от глаз, будто только проснувшись, взяла авоську с лавки, достала письмо. Да вот, живем. От Шуры.

Евдокия взглянула на Колея – изменился или нет тот, кого она считала покойным, но ничего не было видно из-за пара, который шел от его и ее дыхания, из-за того, что у нее темнело в глазах, а затем и из-за спускавшихся на поселок голубых сумерек.

Жене Евдокию представили сестрой.

Уже позже, дома, Колей снял пальто и сапоги с не проронившей за полчаса ни слова Евдокии, надел на ноги шерстяные носки. Донес до спальни, там помог снять верхнее платье и уложил в кровать. Он знал по жене (по первой жене – вторая в этом время суетилась в чулане, готовилась

подавать ужин), видел, даже не дотронувшись, что Евдокию лихорадит. Но он дотронулся – прикоснулся губами к ее лбу. Она тогда пожила у них неделю.

Они не по-сестрински встретились один лишь раз. Это мог бы быть их пятый, ах нет, пятым был Феденька, Феденька умер. Этот был бы шестой. Агафья настояла, что родить его – значит выдать Колея. «Не помнишь, как его искали, приходили, наставили наган на Шурку? Помереть хочешь со всей семьей».

Блеск холодного железа, мокрая от крови кровать, незнакомые сморщенные руки. Почему я не кричу, почему не сбежала, как только очнулась от очередного обморока? Кто виноват – я, он, Агафья, те, кто страшнее волков? Евдокия умерла вместе с неродившимся чадом, с ангелом, которого она так хотела. Она обожала целовать маленькие макушки! Через полгода Колей вернется – его уже никто не ищет, ни с наганами, ни без, спать станет на полу – нет, мамину кровать не могу занимать, а еще через полгода, в 1941-м, пропадет без вести на новой войне. Дети будут ждать его, ведь он все может, тятя – прошел Великую войну, сбежал из ссылки, да не дождутся. Без вести – не без вести, а человек пропал. И война тут ни при чем.

За старшую в семье теперь была Шурка. Она еще тогда, в десять лет, очень быстро повзрослела, когда всю зиму прожила в бане у тетки Марьки, пока бабка Агафья с Ташкой жили в бане у других родственников. А в 42-м она повзрослела неожиданно, когда ценой своего тела купила послабление для Ташки, призванной на фронт.

– Просишь сестру не забирать? – спросил военком. – А ты красивая. Раздевайся.

Шурка до конца своих дней считала то, что произошло, большим грехом, замуж так и не вышла, хотя предложения были. Зато Ташку вместо фронта направили на шитье шинелей в соседнее село.

...Шурка шла через реку в лес, за земляничкой. Ноги осторожно ступали по мосту, подкашивались. Она впервые с тех пор была тут. «Здесь они были тогда. Семеро, глаза блестели. А сейчас – никого, никого нет, только “часики” тикают». Шурка подняла глаза к небу. Ей виделось, как всегда, в каждом облаке, мамыны волосы, на руках малыш. Как, как она могла? Шурке тоже хотелось семью, детей, но их у нее не будет, никогда, никогда.

Неожиданно для себя она села на то место, где тогда сидели волки. Обычно днем она не отдыхала ни минуты, некогда, по ягоды, сенокос, покормить

младших, прополоть бы надо еще. Но какая-то сила не давала ей идти. Она смотрела на небо и знала, что, когда она умрет, что бы ни случилось, даже если она будет тысячу раз не права, Он возьмет ее за руку и скажет: «Девочка, тебе говорю, встань». Наверное, то же самое Он сказал и маме. И она перестала думать об этом «как».

«Часики» тикали, но время остановилось.

